От земли к земле

Виталий Александрович Закруткин

SHOUT
SHARE
IT

- Виталий ЗАКРУТКИН

Виталий ЗАКРУТКИН

ОТ ЗЕМЛИ К ЗЕМЛЕ

Когда-то Александр Фадеев писал: «Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по детству, по юности. Но не для того, чтобы уйти от настоящего, не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы еще лучше осознать свой путь и почерпнуть из прошлого — молодости, веры, добрых сил и чистоты душевной…»

Видимо, о подобном обращении к минувшему, о желании еще и еще раз обозреть пройденный путь могли бы сказать многие люди, особенно те, чей путь не был легким и гладким, прямым и коротким. Что ж, такова натура человеческая. Очевидно, и мне пришла пора, не мудрствуя лукаво, оглянуться на все, что пройдено, чтобы набраться сил и идти дальше, выполняя свой долг…

Совсем недавно довелось мне побывать в древнем городе, на окраине которого в малом домишке я родился 27 марта 1908 года. За двадцать пять веков своей истории этот город у моря пережил вражеские нашествия, пожары, ужасы работорговли, разрушения и вновь восставал из пепла. Он не раз менял свое имя — Феодосия, Кафа, Кефа. Полулегендарные тавры, киммерийцы, скифы, милетские греки-мореходы, разрушившие город гунны, монголо-татары Золотой Орды, купцы-генуэзцы, запорожские казаки прославленного в песнях гетмана Сагайдачного и кошевого атамана Сирко, отважные русские полки Голицына, Миниха и Долгорукова — многие побывали тут, на берегах Черного моря, в городе, которому Россия вернула его первое имя: «богом данная» — Феодосия.

Феодосийцы по праву гордятся тем, что через их город проезжал смелый русский путешественник Афанасий Никитин, что здесь бывали А. Пушкин, А. Грибоедов, А. Чехов, М. Горький, что добрый романтик Александр Грин написал в Феодосии замечательные свои страницы, а В. Вересаев укрывал на даче подпольщиков-большевиков. Они гордятся великим феодосийцем Иваном Айвазовским, русским богатырем Иваном Поддубным, отважным красным полководцем Иваном Федько. Старые жители Феодосии до сих пор помнят, как летом 1905 года на рейде бросил якорь легендарный броненосец «Потемкин», как революционные матросы проводили митинг в порту, призывая к

свержению царского самодержавия…

Отец, Александр Михайлович Закруткин, был сыном народного учителя, всю жизнь проработавшего в одном из сел Мариупольского уезда Таврической губернии. По рассказам отца, и особенно матери, дед мой, Михаил Дмитриевич Закруткин, отличался крайне суровым и жестким характером. Слышал я, что он вырос и воспитался в одном из петербургских сиротских домов и родителей своих не знал. Семья у него была большая, свыше десяти душ. На учительское жалованье прокормить такую ораву деду было нелегко, потому он частенько пил, дома всех держал в страхе и старался побыстрее определить сыновей «на свои харчи».

У меня до сих пор хранится старая фотография деда, на которой изображен высокий худой человек в очках, с острой седой бородой и мрачным взглядом. На груди у него медаль «За непорочную службу». Мне всегда казалось, что дед внешне походил на Дон Кихота. Отец был четвертым пли пятым сыном в семье. Он окончил Преславскую учительскую семинарию. Ректором ее был в ту пору Александр Андреевич Жданов, из семьи которого вышел известный деятель Коммунистической партии А. А. Жданов. В доме Ждановых, обучаясь в семинарии, одно время жил и мой отец. По окончании семинарии отец поступил в Феодосийский учительский институт, специализируясь в области математики Как многие студенты из неимущих, отец жил в Феодосии плохо, снимая для жилья дешевый угол, за гроши питаясь в харчевнях. Выручал его голос — сильный, неплохо поставленный баритон . Отец вечерами пел в профессиональных хорах, исполняя сольные партии. Это пополняло скудный бюджет студента В те годы в Феодосийском учительском институте преподавал музыку и пение Николай Константинович Брайловский, сын какого-то захудалого дьячка, уроженец не то Харьковской, не то Полтавской губернии. У него была довольно большая семья: три сына и дочь Мария. Старший сын преподавателя Брайловского Александр учился вместе с Александром Закруткиным. Очевидно, голос Закруткина привлек внимание этой музыкальной семьи. В 1907 году Александр Михайлович Закруткин и только что закончившая гимназию Мария Николаевна Брайловская обвенчались в одной из феодосийских церквей. Весной 1908 года у них родился первый сын, нареченный Виталием, а осенью года второй, которого отец, любивший звучные исторические имена, назвал Ростиславом.

С 1910 года начались скитания моих отца и матери по разным городам и весям юга России. Впрочем, градов они не видели, а жили по весям, то есть в разных селах и деревнях, куда

отца-учителя назначало начальство. Одно время отец работал в Бессарабии в селе Траянов Вал, потом его перевели на Таврию, где он был инспектором высшего начального училища, оттуда назначили в молдавское село Валегоцулово…

Не могу не вспомнить своего короткого пребывания в Тамани, куда после Феодосии переехал мой дед, ставший регентом церковного хора. В 1915 году я заболел жесточайшим коклюшем с какими-то осложнениями, и врачи посоветовали моим родителям отправить меня к морю — дышать морским воздухом. Так я оказался в Тамани у деда с бабкой.

Дед Николай Константинович, седой, голубоглазый старик с осипшим от непрерывного курения басом, был заядлым охотником и рыболовом. Кроме своего постоянного спутника, черного спокойного пуделя, который сопровождал хозяина даже к церкви, дед стал брать с собой и меня. Мы ловили с ним бычков, на захудалом катеришке уезжали на косу Чушка, где дед постреливал уток, перемежая выстрелы чаркой водки и постоянными рассказами о повадках птиц и рыб, о лекарственных травах, о запорожском атамане Антоне Головатом, который привел своих казаков в Тамань. Памятник Головатому стоял и до сих пор стоит на обрывистом берегу Таманского залива…

Вспоминая сейчас годы своего детства, я думаю, что именно дед вдохнул тогда в мою душу страсть к охоте, к рыбной ловле и — самое главное — неизбывную любовь к природе, ко всему живому. Вечерами уставший за день дед любил при тусклом свете лампады посидеть у стола. Зажав в коленях виолончель, он тихо играл, и голова его была задумчиво опущена. Бабка Дарья Михайловна, спокойная молчаливая женщина, в эти минуты ставила на стол свои печенья. В комнате вкусно пахло свежей сдобой, ванилью, сухими травами.

Осенью 1915 года дед отвел меня в первый класс Таманского казачьего училища. Также, как все мои соученики, я стал щеголять в малиновой черкеске с газырями, в золотисто-желтом бешмете и в белой папахе. Но, конечно, особым предметом нашей мальчишеской гордости был надетый на пояс отделанный серебром и чернью кинжал.

В Таманском казачьем училище я пробыл полтора года. От коклюша давно не осталось никаких следов, и отец с матерью увезли меня домой. Учиться я продолжал в том самом высшем начальном училище, инспектором которого был мой отец.

Об отце мне хочется еще сказать, потому что он был главным моим воспитателем и строгим, требовательным учителем. Наряду с математикой, он очень любил музыку, литературу, в школах организовывал хорошие ученические хоры и сам иногда пробовал

писать стихи и песни, что, впрочем, ему не всегда удавалось. Ни в каких армиях он никогда не служил, оставаясь всю жизнь сугубо гражданским человеком. Потому, видимо, и к моему пребыванию в Таманском казачьем училище отец относился насмешливо, поругивал деда и при первой возможности забрал меня из «солдафонского окружения», как он объяснил матери.

В пору своего студенчества отец одно время был связан с забастовочными комитетами, ходил к феодосийским рабочим на табачную фабрику Стамболи, но в партии не состоял. Как математик он был убежденным атеистом, церковь посещал только по необходимости, когда по так называемым «табельным дням» надо было водить к обедне учеников, но при этом, надевая положенные по форме министерства просвещения белый жилет, темно-синий сюртук и перчатки, ворчал, ругался и называл вышестоящее начальство «поповствующими идиотами».

По характеру отец был человеком вспыльчивым, горячим, но очень быстро отходил, ругая потом себя за вспышки гнева. Энергия в нем кипела. Я почти не помню, чтобы он когда-нибудь сидел сложа руки. Прекрасный садовод, знаток пчеловодства, он во всех школах, где ему доводилось работать, насаживал сады, заводил образцовые пасеки, строил столярные и слесарные мастерские, в которых работали и учителя и ученики, а больше всех — он сам…

Самый разгар гражданской войны застал нашу семью в молдавском селе Валегоцулово Ананьевского уезда Херсонской губернии, где отец был заведующим школой. К этому времени в семье прибавились еще двое: сестра Ангелина и брат Евгений. Со дня на день жить становилось все труднее. Надвигался голод. Деньги ничего не стоили. Не было ни хлеба, ни картофеля, ни соли, ни спичек, ни керосина. Мы все радовались, когда отец изредка приносил свою зарплату натурой: ведерко кукурузной муки, фунт фасоли, гороха или моркови.

В один из холодных зимних вечеров 1920 года отец озабоченно сказал матери:

— Хватит. Надо спасать детей, иначе все они пропадут. Недалеко от Валегоцулова, в семи верстах, есть деревушка Екатериновка. Вчера я был в этой деревушке. Там в небольшом доме какого-то захудалого немца-помещика — он уехал в Германию — открыта школа, а учителя нет. Давай переедем туда. Весной ревком выделит нам земельную норму, будем работать.

— Чем работать? — возразила заплаканная мать. — У нас ни лопаты, ни вил, ни топора.

— Не хнычь, — озлился отец. — Хныканьем ничему не поможешь. Мир не без добрых людей. Готовься к отъезду…

Метельным декабрьским днем, забрав свой убогий скарб, мы на санях-розвальнях приехали в глухую деревню Екатериновку- в ней тогда было всего двадцать два двора — и поселились в холодном нетопленном доме, в котором была одна большая комната-класс, две махонькие комнатушки для учителя и кухня с огромной русской печью. В первую ночь отец топил печь досками, оторванными мной и Ростиславом от полуразломанного забора.

Шел двадцать первый год. Голод гулял по всем окрестным селам и деревням. Людей косили сыпной тиф, дизентерия. Во всей округе не было ни врача, ни фельдшера. Отец с матерью, чудом добыв в волостной аптеке какие-то лекарства, ходили по хатам, лечили больных, а к вечеру приносили домой скудную мзду: стакан крупы, пару-другую яиц, несколько картофелин. Весной мы с Ростиславом стали ходить с солдатским котелком в ближние леса, лазить по деревьям и добывать вороньи и грачиные яйца, чтобы помочь семье.

Ни один из учеников не появлялся в школе: голодным, раздетым деревенским ребятам было не до учения. В эти трудные дни в Екатериновке неожиданно появились с небольшим отрядом комбриг Григорий Иванович Котовский и его комиссар Феофан Христофоров, двоюродный брат моего отца. Они ночевали у нас, и отец рассказал им, что сельревком выделил нам землю, по полторы десятины на едока, но что обрабатывать эту землю нечем, так как у нас нет ни коня, ни вола, ни плуга, ни бороны.

Бритоголовый Котовский переглянулся с невысоким чернявым комиссаром и сказал:

— Ну что ж, Феофан? Оставим твоим родичам пару подбитых коней, повозку, штук пять саперных лопат. Можем прибавить еще кусок палаточного брезента. Больше у нас ничего подходящего нет. Ни плугов, ни борон мы не держим…

Так в тот день у нас появились два выбракованных кавалерийских коня, у которых от запала подгибались и дрожали передние ноги. На хвостах у коней были подвязаны фанерные бирки с номером и кличкой: у каракового «№ 199 — Бой», у рыжего «№ 338 — Жан».

Здесь я подхожу к тому самому главному, что с годами определило всю мою дальнейшую жизнь, дало мне познать живую красоту и могучую силу земли, наслаждение трудной работой в полях, заставило горячо полюбить природу, породило в ребячьей душе смутное, затаенное стремление к чему-то певучему, прекрасному, которое не было тогда понято и осознано мной, но уже тревожило, звало, влекло к себе, требовало выражения в слове, в музыке, в песне…

Той же весной, спасаясь от голодной смерти, мы всей семьей

начали работать на выделенной нам земле. Сердобольные соседи дали нам на время однолемешный плужок, деревянную борону с железными зубьями, показали отцу, как надо сеять пшеницу, разбрасывая ее горстями так, чтобы драгоценные зерна ложились на вспаханное поле ровно, без загущения и без пустот. Вскоре мы с братом научились запрягать коней в повозку, в плуг и в борону, вести их по полю так, чтобы не делать огрехов. Мы водили Боя и Жана в ночное, сидели с соседскими ребятами у костров, радовались тому, что наши работяги-кони быстро поправляются на свежей, сочной траве. Голод все еще мучил людей. Далеко не все поля в деревнях были засеяны, большая их часть заросла бурьяном, потому что не хватало зерна, но люди работали не покладая рук, борясь за свою жизнь. И жизнь победила…

Десять лет прожила наша семья в деревне Екатериновке. За эти годы не стало верных Боя и Жана, вместо них появились купленные отцом кобылицы. Они исправно рожали жеребят, работали в поле. Появилась у нас своя корова. Появились свиньи и утки. Отец приобрел плуги, борону, сеялку. Из Тамани к нам перебрались постаревшие дед с бабкой, которых надо было по-человечески пригреть.

Мы все дружно работали в поле, кормили коров и кур. Дед собирал лекарственные травы и сдавал их в волостную аптеку. Зимой мы с братом уезжали в Валегоцулово, чтобы продолжать обучение в единой трудовой школе — так она тогда называлась, а с весны до осени трудились на земле…

Земля, земля! Ты была истинным началом моего жизненного пути. Я никогда не забуду, как мудрые старые односельчане учили меня пахать, очищать в решете семенное зерно, боронить, сеять, полоть сорняки на полях, косить, вязать снопы, молотить. От них, умудренных опытом многих поколений, я узнал, как болеет скот от черного паслена, конского укропа, вороньего глаза, белой чемерицы, чистотела, сурепки. Я научился очищать стрелки на конских копытах, доить коров, чинить упряжь, колесной мазью смазывать телегу, лечить телят и свиней.

Я познал едкий запах соленого пота, сладость отдыха после тяжелых трудов на земле и счастье работы на благо людей. И это я тоже никогда не забуду. Грудь моя дышала легко, я готов был плакать от счастья, когда встречал в полях восходы и закаты солнца, вдыхал запах трав после летней грозы и свежий, бодрящий запах первого снега, слушал вечерний переклик грачей в перелесках и протяжные песни деревенских девчат…

В 1927 году я окончил единую трудовую школу и стал работать избачом. Изба-читальня располагалась в небольшом

доме сбежавшего кулака. За книгами и газетами приходили парни и девушки из четырех окрестных хуторов. Библиотеку никто не комплектовал, книги собирали отовсюду, и потому в избе-читальне стояли на полках тома из помещичьих усадеб, отпечатанные на грубой бумаге брошюры Политпросвета, комплекты старых журналов. В этом ворохе запыленных книг мне случайно попался сборник стихов С. Есенина, который меня буквально потряс. Позже мы с братом Ростиславом, собирая каждую копейку из тех денег, которые удавалось выпросить у матери или отца, покупали и выписывали все, что можно было достать из есенинских произведений, которые навсегда вошли в мою душу.

Поразила меня невиданная искренность поэта, его неизбывная любовь к земле, ко всему живому, и самое главное — к человеку, который жизнью и работой своей кровно связан с кормилицей-землей. Мне казалось тогда, что неведомый поэт пишет про нас всех, кто живет в этой глухой деревушке: про деда Ивана Корзуна, про дядьку Кондрата Бесхлебного, про тетку Настю Малицкую, про моих отца и мать, про братьев и сестру, про меня самого.

В самом деле, вот мы в ту печальной памяти голодную осень бродим по полям, по дорогам, собираем каждый найденный колос, теребим его в ладонях, а зерно бережно кладем в сумки, пошитые матерью из наших старых штанов, и я читаю:

Хорошо в эту лунную осень
Бродить по траве одному
И собирать по дороге колосья
В обнищалую душу-суму…

Осенью, когда уже убраны поля и обмолочен хлеб, мы с братом ведем коней в лес. Вокруг ни души. Золотится на негреющем солнце тонкая паутина, сотканная паучком-кочевником. Неслышно слетают на землю листья дубов и вязов. Еще не сошла с пожелтевших трав утренняя роса, с низин тянет влажным запахом прели. Смирно пасутся неподалеку наморенные кобылы с жеребятами. Вот одна из них постояла, задумчиво опустив голову, потом, шурша опавшими листьями, подошла к полуоблетевшему вязу и, слегка подогнув передние ноги, стала медлительно тереться гривой о ствол дерева. Чуть вздрогнул, заскрипел, закачался вяз. И осыпались с неба легкие рыжеватые листья. Брат читает:

Тихо в чаще можжевелья по обрыву.

Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.
Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков…

Поздней весной вся деревня выходит на сенокос. Пожилые мужчины учат меня косить. Отцу одному трудно управляться, а сена на зиму надо и готовить, чтоб не остались голодными кони, коровы, овцы. Поначалу мне трудно: пот заливает глаза, натертое руками деревянное косьё скользит, вертится в ладонях, а непослушная коса то воткнется острым носком в кротовину, то заелозит пяткой, оставляя густое разнотравье нескошенным. Но вот пройден один ряд, другой, третий. Взмахи моих рук становятся все тверже, все увереннее. Я уже не отстаю от взрослых косарей, уже горделиво поглядываю на девчат, которые ходят по лугу с граблями, ворошат свежую, чуть увядшую на солнце траву. И уже не без вызова я, подлаживаясь под замах косой, громко говорю:

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки,
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.
В этих строчках песня, в этих строчках слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком…

Поражал, удивлял и трогал меня Сергей Есенин многим: тем, что на всю вселенную переносил черты и особенности домашних животных, зверей, птиц, человека: «отелившееся небо лижет красного теленка», «кудрявый сумрак за горой рукою машет белоснежной», «заря на крыше, как котенок, моет лапкой рот», «ягненочек кудрявый — месяц», «тучи с ожерёба ржут, как сто кобыл», тем, что язык его напоминал мне милое разнотравье родных русских лугов, духовитое, крепкое, сочное, саднящее сердце своей острой терпкостью (сутемень, закут, первопуток, сухлый, цветь, звень, сугорье, опадь, засевки, хмарь), тем, наконец, что даже в самых что ни на есть «кабацких» стихах, звучащих как вызов, чувствовалось постоянное стремление к самоочищению, любовь к людям.

Мы с братом Ростиславом были покорены поэзией Есенина, и оба, соревнуясь друг с другом, стали писать стихи, откровенно подражая любимому поэту. Стихов было написано много. Мы

писали о полях, о перелесках, оврагах, о наших конях и коровах, о том, как дед собирает травы, как хорошо снежной зимой сидеть у горящей печки. О многом писали мы с братом в те далекие годы. Писали о дорогах, о грозах, о неразделенной любви, и незримый Сергей Есенин витал над нами. Мне жаль, что позже, разорив дом, где я жил, гитлеровцы вместе с книгами уничтожили и тетради написанных мной стихов. Зато стихи Ростислава, который отважно сражался на фронтах Отечественной войны, а летом 1955 года утонул в Калининграде, случайно дошли до меня через десятки лет. Я очень любил брата и, когда увидел ломкие, пожелтевшие страницы его тетрадей, с грустью вспомнил наше деревенское детство, отрочество, дружную нашу юность. Мне хочется привести здесь стихи Ростислава с одной целью: показать, что мы с ним были покорены Есениным и, босоногие жители глухой деревушки, вовсю старались писать так, чтобы походить на него, нашего властителя дум:

Неужели песня спета?
Я не знаю, как мне быть.
Нет сильнее боли этой —
Потерять, но не забыть.

Клен! Не мне ли он кивает,
Хороня по веткам дрожь?
Он давно, зеленый, знает
Дом, где ты меня не ждешь.

Неужели песня спета?
Я не знаю, как мне быть.
Нет сильнее боли этой —
Потерять, но не забыть…

Такими же стихами наполнялись и мои тетради. Я вспомнил об этом только потому, что, отыскивая источники своего бескорыстного стремления к слову, тревожащего душу желания рассказать людям о силе и красоте земли, о зеленом шуме лесов, о ласковости кобыл, коров, овец, голубей, о солнце и звездах, обо всем, что там, в запрятанной меж двух холмов деревушке, окружало нас, было горячо и беззаветно любимо нами, хотел признаться в том, что мы, безъязыкие, обратились к поэтическому учителю, наиболее близкому нам. Вместе с землей его поэзии учила нас познавать все доброе в мире…

Свои поэтические тетради мы с братом никому не показывали, ревниво то охраняя написанные нами строки от

любопытных взоров младших Ангелины и Евгения, — что они могли понять в наших высоких порывах? Куда мы только не прятали заветные тетради в клеенчатых обложках! Зарывали их в пшеницу на чердаке, укрывали соломой, настеленной на русской печи, таскали с собой в поле и в ночное. При этом особенно побаивались мы отца, к тому времени остывшего к поэзии. Побаивались и потому, что в стихах наших, соответственно стилю «Москвы кабацкой», встречались и «притоны», и «суки», и «проститутки», и даже словечки похлеще, которым нас настойчиво учили старшие деревенские парни.

Каково же было наше удивление, когда однажды, прихватив с собой тетради, мы отправились с Ростиславом в поле, стали читать друг другу стихи и вдруг увидели сделанные красными чернилами поправки и приписки на полях, в которых мы сразу узнали твердый почерк отца. После поправок орфографических ошибок отец счел нужным объяснить нам все, чего мы не понимали. Он писал коротко и энергично: «Дурак! «Притон», а не «претон»… «Осёл! По смыслу, весьма дерьмовому, у тебя должно стоять слово «кобель», что значит самец собаки, а ты пишешь «кабель», что означает электрический провод». Таков был наш первый суровый редактор. К чести отца надо сказать, что он не отбил нас от поэзии, не издевался над нами в присутствии других, но считал необходимым грубовато повернуть наши путаные поэтические тропинки подальше от «кабаков» и «притонов».

Между тем шло время. Ростислав тоже окончил единую трудовую школу, одну зиму проучился в сельскохозяйственной профшколе, а я то работал в избе-читальне, то занимался ликвидацией неграмотности и ближайших хуторах. Подрастали и младшие сестра с братом. Мать постоянно настаивала, чтобы все мы учились дальше, но это влекло за собой необходимость навсегда распрощаться с землей, с полями, сдать выделенную нам земельную норму и всей семьей переезжать туда, где были учебные заведения.

После мучительных голодных лет отцу да и нам всем было жалко оставлять возделанные нами поля, расставаться с деревней, которая спасла нас от смерти, с простыми людьми, которых мы уважали и любили. Но делать было нечего. Другого выхода не было. Без нас, детей, отец с матерью хозяйство не потянули бы. И отец решился: написал в Народный комиссариат просвещения и вскоре получил назначение на Дальний Восток заведующим учебной частью сельскохозяйственного рабфака в поселке Завитая Амурской области. Все, что было нами приобретено за десять лет работы на земле — телеги, плуги,

бороны, косилки, культиватор, — отец перед отъездом просил сельсовет передать организуемому в Екатериновке колхозу…

Чтобы выдержать сроки своего приезда к новому месту работы, отец, взяв с собой самого младшего сына Женю, уехал вперед, а мы остались, чтобы собрать все необходимое и решить вопрос с дедом и бабкой, которые наотрез отказались ехать на Дальний Восток. Уже после отъезда отца старики твердо заявили матери, что вернутся в Тамань, где их знали, или уедут в станицу Павловскую на Кубани: там дед когда-то работал в школе вместе с Федором Васильевичем Гладковым, позже ставшим известным советским писателем.

Проводив стариков, мы собрали нужные вещи, сдали под расписку сельсовету все, что отец отдавал будущему колхозу, поздним ноябрьским вечером в последний раз посидели в полупустом доме у горящей печки, а на следующий день поехали на ближайшую станцию.

Вез нас один из соседей. Было морозно. Кони, пофыркивая, натужно тянули тяжело нагруженную телегу. Монотонно позванивали колеса. Повернувшись спиной к ветру, мать с сестрой плакали. Рядом со мной, опустив голову, сидел хмурый Ростислав…

Вот и наша земля, та самая земельная норма, наша черная, потом пропахшая выть, которую мы получили от Советской власти и теперь добровольно покидали, уезжая в немыслимую даль, куда-то на край света. Поля лежали безлюдные, молчаливые, присыпанные снежком. Обняв брата, я думал сквозь слезы:

«Сколько же мы исходили по тебе, земля! Сколько тяжких, неусыпных трудов вложили в обработанные нами поля, сколько пролили горячего, соленого пота. Ты воздала нам за все, земля. Ты вскормила и вырастила нас, научила работать, открыла нам, как тайну, великую правду жизни, вложила в сердца наши доброту и жалость ко всему живому, и я никогда, никогда не забуду тебя, родная земля, и вас, перелески, холмы и овраги. Когда-нибудь придет такая пора, и, может, я расскажу людям о вас, как положено рассказать сыну о матери: уважительно ласково и нежно…»

После отъезда отца я оставался в семье за старшего. Опасаясь дорожных воров, мы с матерью разделили деньги и хранили их как зеницу ока. Москва оглушила нас шумом: громыханьем трамваев, гудками литомобилей, криками извозчиков, несметными толпами людей. На Ярославском вокзале нам удалось взять билеты до станции Завитая Уссурийской железной дороги. Товарно-пассажирский поезд отходил через два дня. У

нас оказалось свободное время. Устроив мать и сестру и зале ожидания, где одуряюще пахло карболкой и людей было набито, как сельдей в бочке, мы с Ростиславом рискнули посмотреть центр Москвы. Мать не без страха сказала нам:

— Смотрите, мальчики, не заблудитесь. Ты, Славик, не отставай от Виталия, лучше держите один другого за руку.

Дальнейшие ее слова относились уже прямо ко мне: — " У тебя, Таля, в бумажнике половина наших денег. Ехать нам придется долго, недели две. Купи, пожалуйста, побольше булочек, банок десять консервов, сахару, пачки три чая… Вот вам мешочек, сложите него аккуратно…

Я заверил мать, что все будет в порядке. Мы вышли с Ростиславом на привокзальную площадь. Огляделись. В огромных валенках, в лохматых шапках и в каких-то бурых деревенских армяках, надетых поверх полушубков, мы робко вошли в один из трамваев, но по пути ничего не мидели, потому что окна были покрыты толстым слоем инея. Участливая кондукторша, глядя на наше одеяние, подсказала, где надо выйти.

И нот мы в центре столицы. Взявшись за руки, чтобы не потерять друг друга в толпе, походили по Красной площади, постояли у Мавзолея Ленина, потом стали бродить по улицам. У какой-то высокой кирпичной стены вдруг увидели сотни лотков со старыми книгами, целый книжный город. У нас глаза разбежались при виде такого несметного богатства. Перелистывая старинные и новые книги, ходили мы с Ростиславом от лотка к лотку, от лавчонки к лавчонке и замирали от восторга.

Вдруг в одной из книжных лавок я увидел роскошное, в тисненном золотом переплете, шеститомное собрание сочинений Пушкина. Это ныло известное в свое время издание Брокгауза — Ефрона с обширными комментариями, со множеством иллюстраций. Сердце мое дрогнуло. Старый букинист, притопывая от холода ногами, подозрительно посматривал на меня из-под очков. Маскируя робость, я довольно небрежно спросил:

— Сколько стоит это собрание?

— У вас, молодой человек, вряд ли хватит денег, — ответил старик.

— А все же? — настаивал я.

Букинист назвал цену и усмехнулся. Мы с братом испуганно переглянулись — цена была сумасшедшая. Но я справился с волнением и довольно бодро сказал:

— Получите деньги и свяжите, пожалуйста.

Ростислав больно сжал мне плечо, зашипел в ухо:

— Ты что? Спятил? А что в дороге жрать? Пушкина твоего

жевать будем?

Я отмахнулся от него и, хотя на душе у меня кошки скребли, уплатил старику-букинисту деньги, подхватил тяжелую связку книг и собрался уходить, но в эту минуту Ростислав взбеленился.

— Нет, братец! — бледнея, сказал он, — так не пойдет! В поле мы гнули горб одинаково, значит, и денежки давай будем делить поровну.

— Что же ты хочешь? — спросил я.

Брат вызывающе пожал плечами и отчеканил:

— Вот там, на третьей полке, стоит собрание сочинений Лермонтова. Плати за Лермонтова и пошли.

Делать было нечего. Памятуя о высшей справедливости, мы, хотя и предвидели слезные упреки матери, уплатили изрядную сумму за Лермонтова и отправились на Ярославский вокзал…

Зимний день короток. Пока мы возились в книжных лавках, быстро потемнело, всюду засветились фонари. Вечерний город не был похож на дневной. Убоявшись исполосованной электрическими лучами темноты, мы не зашли ни в один из гастрономических магазинов, прибежали на вокзал без заказанных матерью продуктов и, вытирая обильный пот, молча положили перед ней связки книг…

Забегая вперед, я хочу сказать, что купленные нами сочинения Пушкина и Лермонтова стали для нас с братом предопределением, знаком судьбы. Хотя мы ни разу в жизни не изменили Сергею Есенину, великие русские поэты открыли перед нами вершины родной литературы, красоту языка, заставили работать над словом по-настоящему. Именно от них, двух поэтов, чьи сочинения были случайно добыты нами у московских букинистов, начался наш путь в науку. Позже брат Ростислав и я, окончив аспирантуру и защитив в Ленинграде диссертации, были удостоены ученой степени кандидата филологических наук, звания доцента и стали руководить кафедрами литературы: Ростислав в Калининграде, а я — в Ростове-на-Дону.

Но до этого в тот морозный декабрьский день было еще очень далеко.

Медленно полз наш товарно-пассажирский поезд на Дальний Восток. Ехали мы в общем вагоне, на плацкартный не хватило денег. Проводники топили печь от случая к случаю. На каждой остановке — а их было множество — люди с ведрами и чайниками бегали за кипятком, мужики согревались самогоном. Кто-то играл в карты, кто-то в лото. Так и коротали время. Как только стекла в окнах оттаивали, каждый из нас старался пробраться поближе, чтобы разглядеть новые места. Мы уже проехали бесконечные вятские леса, Свердловск, Новосибирск,

Красноярск. С каждым днем становилось все холоднее, мороз крепчал. Минован Иркутск, поезд долго стоял на станции Слюдянка. Пассажиры вышли из вагонов. Все любовались величественной гладью зимнего Байкала. Лед в Байкале был хрустальной прозрачности и отсвечивал нежной голубизной. Вокруг огромного, покрытого льдом озера высились угрюмые, запорошенные снегом лесистые скалы.

Но вот остались позади Улан-Удэ, Чита, Могоча, какая-то станция со странным названием Ерофей Павлович, Сковородино, Невер, Бочкирово, и, наконец, наш медленный поезд подошел к долгожданной Завитой. Отец с братом встречали нас. Быстро выгрузили все наши узлы, корзины, ящики, мешки. Пуще всего мы с Ростиславом оберегали Пушкина и Лермонтова.

И 1930 году Завитая представляла собой небольшой поселок, районный центр, окруженный тайгой. В поселке были две школы — железнодорожная и поселковая, сельскохозяйственный рабфак и примыкавший к станции клуб. Все дома в Завитой были деревянные.

Людей на Дальнем Востоке было в ту пору мало, каждый человек ценился, как говорится, на вес золота, и потому вскоре удалось устроиться на учительскую работу и матери, и мне. Братья и сестра стали учиться на рабфаке, Ростислав — на старшем курсе, а Евгений и Ангелина — на первом. Вся наша семья поселилась в домишке рядом с рабфаком…

На Дальнем Востоке мы прожили три года. За это время многое довелось повидать, и я до сих пор преклоняюсь перед замечательным краем с его величественной природой, обширностью, прекрасными людьми. Вскоре после приезда у меня завязалась дружба с товарищами по работе, заядлыми охотниками. Мы часто уезжали в тайгу, бродили но сопкам и падям, стреляя коз, тетеревов, фазанов. В одну из зим нас, группу молодых работников, вызвал председатель райисполкома и предложил выехать в командировку для описания таежных стойбищ, переписи населения и составления карт нашего пути. Нам дали пару саней, лошадей, продукты. Ехать пришлось по льду реки Бурея более пятисот километров. Нас было шесть человек: четверо парней и две девушки — комсомолки Ася Алешина и Ната Панина. Одеты мы были тепло, в оленьи дохи и унты. Мороз в ту зиму доходил до сорока градусов, но ветра не было, и светило солнце

Ночевали мы в охотничьих избушках, пили разведенный снегом спирт, ели соленую кету, вяленую оленину и посетили

места, которые мне никогда и не снились. Мы встречали семьи тигроловов и медвежатников, охотников на белку и соболя, староверов, молокан, контрабандистов-спиртоносов, лесорубов…

Тайга очаровала меня, постоянно тянула к себе великим своим молчанием, девственной красотой, сиянием снегов, судьбами суровых, мужественных людей. Долгими зимними вечерами я стал писать большую поэму «Тай, тайга» — о том новом, что несла огромному краю на востоке Советская власть. Хотя что-то в этой поэме — в стиле, в манере, в поэтических ритмах — определялось есенинским «Пугачевым», я, проверяя себя, заметил, что уже не так рабски копирую Есенина, что в стихах моих стало пробиваться что-то совсем иное. Видимо, чтение пушкинских стихов и повестей давало себя знать.

Поэму «Тай, тайга» я не решался никуда посылать, с годами охладел к ней и не уничтожил только потому, что она была памятью юности и мне жалко было сжечь свое детище. Это сделали за меня люди господина оберста фон Риделя, гитлеровского офицера, поселившегося в моей покинутой ростовской квартире летом 1942 года.

На Дальнем Востоке мне волей судьбы довелось стать режиссером и драматургом. Дело в том, что завитинский клуб, довольно вместительное деревянное здание с залом человек на триста, просторной сценой и комнатами для занятий различных кружков, как правило, пустовал или использовался только киномеханиками. Вскоре после нашего приезда в Завитую мне и моим новым друзьям удалось сколотить большую группу любителей, которую мы вначале скромно именовали драмкружком, а потом по праву стали называть Завитинским драмколлективом. В группу вошли учителя, телеграфисты, агрономы, работники военкомата, райкома комсомола, машинисты и кочегары железной дороги, домашние хозяйки. Меня, как одного из наиболее активных «учредителей», единодушно избрали художественным руководителем и главным режиссером труппы.

В завитинской книжной лавке я нашел книги Бориса Лавренева, которые купил и прочитал. Тогда же по «Рассказу о простой вещи» я написал пьесу. Она легла в основу нашего первого представления, которое сразу стало сенсацией. Районные руководители пошли нам навстречу, стали выделять деньги на декорации, костюмы, грим. Потом мы перешли на «самоокупаемость», стали ставить платные спектакли на разных станциях, у кивдинских шахтеров, в лесхозах, в таежных поселках. Дело было поставлено хорошо: афиши и программы печатались в типографии, нес роли заучивались назубок, декорациями и

реквизитом ведали живописцы-любители, появился у нас и оркестр.

Через несколько месяцев о нас уже знали далеко за пределами Завитой. Дорпрофсож Уссурийской железной дороги премировал наш коллектив полным комплектом духовых и струнных инструментов, почетными грамотами, денежными премиями. Наши спектакли смотрели и высоко о них отзывались профессиональные актеры.

Но, наряду с работой в школе, на фабрике, в клубе, наряду с охотой и путешествиями по обширному таежному краю, я очень много работал и над собой, готовясь сдавать экзамены экстерном за факультет языка и литературы Благовещенского педагогического института. Из Благовещенска мне выслали необходимые программы, я часто ездил туда на консультации, сидел ночи напролет над учебниками и сдавал экзамены по мере подготовки того или иного предмета. Когда институтские профессора предложили мне подумать о теме дипломной работы, я снова обратился к приобретенному в Москве собранию сочинений Пушкина и сформулировал тему так: "Творчество Пушкина и наша современность". Все экзамены были сданы мной за два с половиной года, а после успешной защиты дипломной работы, признанной отличной, я был рекомендован Благовещенским институтом в аспирантуру.

Летом 1933 года мы покидали гостеприимный, полюбившийся нам Дальний Восток. Отца назначили заведующим учебной частью средней школы в Новгород на Волхове, Ростислав поступал на литературный факультет Новгородского пединститута, а я отправлялся в Ленинград сдавать конкурсные экзамены в аспирантуру известного в стране Педагогического института им А. И. Герцена.

К неизвестному будущему я ехал не один. В 1932 году я женился, а через год у нас родился сын.

Новгородский институт, куда вместе с Ростиславом поступила и моя жена, располагался в бывшем Антониевском монастыре, в стародавние времена построенном на реке Волхов. Почти к самому монастырю примыкал лес. В одной из угрюмых монашеских келий — комнатушке с низким сводчатым потолком — мне и жене институтское начальство дало временное пристанище. Там, в этой келье, я и готовился к экзаменам в аспирантуру.

Осенью экзамены были успешно сданы. Начался памятный трехлетний период моей ленинградской жизни. В тот же год в герценовский институт мне удалось перевести из Новгорода жену и Ростислава.

Прошли десятки лет, а я и сейчас, почтительно склонив голову, вспоминаю своих учителей, которые много дали мне в аспирантуре. Моим научным руководителем был профессор В. А. Десницкий, острый, широко и смело мыслящий ученый, которого хорошо знали В. И. Ленин, А. В. Луначарский, А. М. Горький. Несметные сокровища русского народного творчества открыл нам, аспирантам, профессор Н. П. Андреев, известный своими работами по фольклору далеко за пределами страны. Читали отдельные лекции С. А. Андрианов, Б. В. Томашевский, В. В. Гиппиус.

Священным местом для меня стал ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР, или Пушкинский дом. Я присутствовал на многих заседаниях, докладах, дискуссиях в Пушкинском доме, слушал выступления известных ученых: В. М. Жирмунского, М. П. Алексеева, А. С. Орлова, Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, Л. В. Щербы, М. А. Цявловского и многих других. Слушал и, как говорится, мотал на ус…

Любил я бывать и в Доме писателей на улице Воинова. Там мне довелось видеть и слышать Алексея Толстого, Вячеслава Шишкова, Ольгу Форш, Алексея Чапыгина, Николая Тихонова, Юрия Тынянова, Всеволода Рождественского, Анну Ахматову и более молодых поэтов : Николая Брауна, Бориса Лихарева. Я был рад моему знакомству, позже перешедшему в дружбу, с большим русским поэтом, замечательным знатоком народного языка Александром Прокофьевым, о котором в сентябре 1934 года в журнале «Резец» была напечатана моя статья «Идущий с песней».

В Ленинграде я стал печататься довольно часто. Мой друг по аспирантуре Александр Львович Дымшиц, литератор широко образованный, начитанный, знающий европейские языки, основательно изучивший творчество классиков марксизма, ввел меня в редакции журналов «Резец» и «Звезда», где я в 1933 — 1936 годах опубликовал ряд статей: о Пушкине, о почти неизвестном романе Нарежного «Гаркуша», о классиках белорусской литературы, о С. М. Кирове, о сборниках молодых поэтов и другие. С Александром Дымшицем, который доблестно воевал в пору Отечественной войны, работал в Советской военной администрации в Германии и стал известным критиком, у меня долгие годы не прекращалась добрая дружба. Ее оборвала недавняя, неожиданная для меня смерть друга.

Когда В. А. Десницкий спросил, какая тема кандидатской диссертации избрана мной, я, конечно, сразу же назвал Пушкина. Вначале Василий Алексеевич с удивлением посмотрел на меня поверх очков, потом иронически усмехнулся: " Разве Пушкин

плохо изучен?"

Робея под взглядом любимого учителя, я взволнованно заговорил о том, что меня давно интересует таинственная история уничтоженной Пушкиным поэмы «Братья-разбойники», ее истоки и корни, что привезенные А. В. Луначарским из Парижа страницы пушкинских рукописей, а также отдельные тетради поэта, хранящиеся в Институте русской литературы и в Московской публичной библиотеке, позволяют по-новому истолковать происхождение и причины уничтожения значительной части загадочной пушкинской поэмы.

Василий Алексеевич внимательно выслушал меня, подумал и решил:

— Ну что ж, попробуйте. Считайте, что тема ваша утверждена. Желаю успеха…

Так собрание сочинений Пушкина, случайно приобретенное мной у московских букинистов, еще раз послужило мне, натолкнув на изучение поэмы «Братья-разбойники». Кстати, позже, когда мой брат Ростислав по окончании института был принят в аспирантуру и причислен к кафедре Десницкого, склонный к юмору Василий Алексеевич добродушно именовал нас братьями-разбойниками.

Весной 1936 года работа над диссертацией была завершена. Она получила высокую оценку профессора Н. К. Гудзия, официальных оппонентов профессора Н. П. Андреева и профессора С. А. Андрианова. Главный редактор московского журнала «Красная новь» В. В. Ермилов напечатал значительную часть диссертации. Была она опубликована и в «Ученых записках» института им. А. И. Герцена.

В июне 1936 года я защитил диссертацию. Она была единогласно утверждена. Мне были присвоены ученая степень кандидата филологических наук по русской литературе и звание доцента. Этим же летом нарком Просвещения А. С. Бубнов направил меня заведующим кафедрой русской литературы в Ростовский-на-Дону педагогический институт. Ленинградский период моей жизни остался позади…

Еще до переезда в Ростов, летом 1935 года, я побывал в станице Усть-Медведицкой на Дону, куда из Новгорода был переведен мой отец. Там, в Усть-Медведицкой, мне посчастливилось познакомиться с А. С. Серафимовичем, у которого в станице был свой дом.

Неожиданно для меня Александр Серафимович пришел в Летний театр послушать лекцию о Пушкине. Нужно ли говорить о

том, с каким волнением и с каким подъемом рассказывал я в этот вечер о великом поэте, который стал моей судьбой?

Много лет изучая жизнь и творчество Пушкина, я, естественно, знал множество его стихов, поэмы, маленькие трагедии, прозу, лекцию читал без тезисов и конспектов.

А. С. Серафимовичу лекция очень понравилась.

Он пришел за кулисы, обнял меня, пригласил к себе и предложил в одно из воскресений вместе с ним рассказать

станичникам о Горьком. Вскоре такой вечер состоялся.

Я стал часто бывать у Александра Серафимовича. Иногда мы сидели с ним до рассвета, и он рассказывал мне о многих литераторах, с которыми встречался и которых я знал только по их книгам, говорил о задачах советской литературы, о своих творческих замыслах. Встречи с большим писателем, одним из зачинателей советской литературы, конечно, сыграли в моей жизни огромную роль.

Благодаря А. С. Серафимовичу, мне этим же летом удалось познакомиться с М. А. Шолоховым, о чем я подробно рассказал в своей книге «Цвет лазоревый». Но об этом позднее.

Ростов-на-Дону встретил меня гостеприимно. Дирекция института немедленно предоставила мне хорошую квартиру, площадь которой позволила отдаться страсти собирания книг. Нагрузка у меня была большая — я читал весь курс лекций по русской литературе XIX века, зарплата высокая, и потому, бывая в Москве и Ленинграде, я всегда привозил оттуда ящики с книгами.

Вскоре мне удалось собрать большую библиотеку, которая помогла мне строить курс лекций на достаточной высоте.

Шел 1937 год. Вся страна собиралась отметить столетие со дня смерти Пушкина. Не остался в стороне и Ростовский педагогический институт. В то время Ростов был центром сначала Азово-Черноморского, а потом Северо-Кавказского края. По моей просьбе краевое начальство выделило для пушкинских празднеств большую сумму денег. Меня командировали в Москву и Ленинград, где я достал сотни интересных гравюр, портретов, фотокопий, рукописей, заказал картины на пушкинские темы. Для подготовки выставки был мобилизован весь факультет языка и литературы. Выставка, по единодушным отзывам посетителей, получилась отличной. Она занимала много институтских комнат и обширнейший актовый зал. По всему городу, в станицах и селах читались циклы лекций о Пушкине, была созвана научная конференция, изданы «Ученые записки», посвященные поэту…

А на горизонте сгущались тучи. Второй год шла кровопролитная гражданская война в Испании. Вместе с наемными марокканскими солдатами генерала Франко на

республику лезли дивизии Муссолини, гитлеровские хищники. Немецкие нацисты уже строили планы порабощения всего мира. Франкистским мятежникам помогали слетевшиеся в Испанию троцкисты. Предательскую политику «невмешательства в Испанские дела» вели правители Англии и Франции.

Несмотря на большую нагрузку в институте, меня все время тянуло к художественному творчеству. Давно хотелось написать книгу об ученых энтузиастах, причем перед глазами моими всегда стоял старый профессор-археолог Василий Васильевич Передольский, с которым я встречался в Новгороде. В любое время года он бродил по берегам Волги и, отыскивал вымытые волнами каменные скребки, топоры, стрелы, черепки древних сосудов, искал захоронения времен Новгородской Руси. Вспоминая жизнь старика Передольского и по-своему помышляя ее, я в 1938-1939 годах написал, а в 1940 году напечатал большую повесть "Академик Плющов". Она была издана в Ростове и тотчас же вызвала ожесточенные споры. Одни расхваливали повесть, другие ругали. Это было первое мое произведение в прозе, и сейчас, спустя тридцать с лишним лет, я отношусь к этой книге как к доброму, но не доведенному конца замыслу.

Однако это был серьезный экзамен, и, как показало время, я его выдержал.

Через год, перед самой войной, вышла в свет книга моих исследований и статей «Пушкин и Лермонтов», куда, кроме диссертации о поэме «Братья-разбойники», были включены исследование о незавершенных замыслах Пушкина в Кишиневе (пьеса «Игрок» и несостоявшаяся поэма о князе Мстиславе Удалом), а также застенографированный студентами специальный курс моих лекций о Лермонтове.

Канун войны был для меня «урожайным». В 1939 году в Ростовском архиве была обнаружена рукопись, содержащая калмыцкий и русский текст «Джангара».

К начале девятисотых годов запись калмыцкого эпоса сделана была Иваном Ивановичем Поповым. Уроженцы Дона хорошо знали этого любителя-этнографа и фольклориста. Он окончил Лейпцигский университет, был состоятельным человеком, но поселился в глуши, в степной балке Аюла, где прожил более двадцати лет, почти всю свою жизнь посвятив собиранию материалов о жизни донских калмыков. Когда работники архива, уже после смерти И. И. Попова, обнаружили его рукопись, мне было предложено предварить ее опубликование исследованием о «Джангаре» и комментариями к записи Попова.

Рукопись меня заинтересовала. За короткое время я старался освоить труды целого ряда ученых-монголистов, приобрел много

материалов по этой теме. Результатом было опубликование книги с моей статьей «К истории изучения «Джангара». За эту книгу известный советский полководец Ока Иванович Городовиков прислал мне теплую благодарность.

В довоенном Ростове ключом кипела театральная жизнь, и я, вспоминая свой дальневосточный драмколлектив, самое горячее участие принимал в работе театра под руководством Ю. А. Завадского: печатал рецензии на спектакли, выступал в дискуссиях и в обсуждениях пьес, писал для театра инсценировки по произведениям Пушкина и Лермонтова, встречался с актерами. Запомнилась мне долгая работа с прекрасным артистом Николаем Дмитриевичем Мордвиновым, когда он готовился к чтению лермонтовской поэмы «Демон». Бывало, мы с ним просиживали ночи, уточняя каждый оттенок глубокой и горькой мысли поэта, интонации, ритм, все, что, с нашей точки зрения, должно было наиболее полно раскрыть гениальное творение Лермонтова. Позже наша дружба с Н. Д. Мордвиновым окрепла и продолжалась до печального дня его неожиданной смерти.

Лекции в пединституте и университете, публичные лекции в городе и районах, работа над очередной книгой, встречи в театре и горячие споры, частые выступления в газетах и журналах — так складывалась моя жизнь в Ростове…

Все это прервала война. В первые же дни войны, когда группа ростовских писателей отправилась на фронт, я ежедневно обивал пороги военкоматов, военного совета СКВО и других организаций с просьбой, чтобы меня отправили с уходящими на фронт товарищами, — на все мои слезные просьбы я получал один и тот же ответ:

— Группа уже укомплектована. Мы не можем нарушать порядок. Подождите немного. В нашем округе будет формироваться отдельная армия, пошлем вас в эту армию…

С тяжелым чувством провожал я на вокзале уезжавших на фронт писателей-земляков Александра Бусыгина, Анатолия Софронова, Илью Котенко, Григория Каца, Михаила Штительмана, Александра Оленича-Гнененко, Григория Гридова. Все они были уже одеты в военную форму и направлялись (тогда мы этого еще не знали) в 19-ю армию. Не думал я в этот теплый летний день, что большинство товарищей мне не придется увидеть никогда.

7 октября 1941 года 19-я армия была окружена в районе Вязьмы двумя танковыми армиями гитлеровцев. Почти все оказавшиеся в окружении ростовские писатели погибли с оружием в руках или были расстреляны немцами. Такая судьба

была уготована и мне, если бы меня не отправили в другую армию.

Оба мои брата уже воевали: Ростислав на Ленинградском фронте в авиации, а Евгений на Западном – в кавалерии. Наконец, после того как в Кировском райвоенкомате Ростова я демонстративно порвал выданную мне бронь научного работника, военком товарищ Корец молча пожал плечами и выписал мне направление в 56-ю действующую армию на должность военного корреспондента армейской газеты «Красный кавалерист» на фронте».

На кануне моего ухода в армию немцы начали зверски бомбить Ростов, особенно центр города. Были разрушены многие дома, а университетскую библиотеку охватил пожар. Часть книг люди успели выбросить из окоп. Мои друзья подобрали на улице толстый кожаный переплет одного из томов «Римской истории» Роллена, сброшюровали огромную книгу с тысячью чистых страниц и вручили мне в виде подарка с наказом заполнять ее своими дневниками и военными записками. Эта книга во время войны была моим постоянным спутником. Она с трудом входила в офицерскую полевую сумку, много раз заменяла мне подушку. Каждый день страницы ее заполнялись новыми строчками, схемами, которые рисовал после очередного боя, заметками, черновиками стихов и стихотворных шапок, сочиненных для армейских и фронтовых газет, копиями боевых донесений рот, батальонов, полков, дивизий. Позже эта толстая, тяжелая книга сослужила мне добрую службу, став одним из наиболее проверенных источников для работы над рассказами, повестям и романами…

Просиживая ночами за столом, я летом 1941 года успел написать небольшую книжку о нацистах — «Коричневая чума». В ней было рассказы о Гитлере, Геринге, Геббельсе, Гиммлере, об их подручных, об изуверских планах порабощения народов всего мира. Книжка была напечатана «молнией». Часть ее тиража разошлась по воинским подразделениям, а часть осталась в типографии и в книжных магазинах, так как 21 ноября гитлеровские танкисты заняли Ростов. Читателями «Коричневой чумы» оказались гестаповцы и головорезы из карательной зондеркоманды. Как мне потом рассказали старые библиотекарши, гитлеровцы усиленно разыскивали автора книжки и его родственников. К счастью, все старые и малые Закруткины были вовремя эвакуированы в тыл. В Ростове немцы продержались всего семь суток, 29 ноября они были выбиты из

города…

Что же сейчас, спустя много лет, сказать мне о войне, обо всем, что я видел, чему был свидетелем, какие чувства злобной ненависти, любви и жалости обуревали меня, какие скорбные и радостные дороги прошел я с великим множеством боевых друзей? Трудно обо всем говорить. Скажу честно: вначале, в первые месяцы войны, читая наши газеты, я не верил, не хотел верить тому, что гитлеровская армия, состоявшая из немцев, народа, который я уважал, ценил и считал талантливым, таким же, как все другие, могла дойти до состояния маразма, превратиться в скопище изуверов, убийц и мерзавцев. Так я думал до 29 ноября 1941 года, до того дня, когда наша отдельная 56-я армия вышибла немецких танкистов генерала Эвальда фон Клейста из Ростова и я своими глазами увидел все, что натворили гитлеровцы только за одну неделю. Горы слегка присыпанных снежком трупов женщин и детей, противотанковые рвы, заполненные расстрелянными ростовчанами, разграбленные дома, городские кварталы, сожженные от начала до конца, — все это казалось мне кошмарным сном, каким-то болезненным видением в бреду.

Потом в других городах и селах мне довелось видеть сотни виселиц, истерзанные тела людей, страшные призраки узников Майданека, Бухенвальда, Освенцима. Все это тяжким грузом ложилось на душу, заставляло задумываться над судьбами человечества, укрепляло неистребимую веру в то, что армия наша свершает всемирно-историческое дело, освобождая планету от уготованного ей чудовищного зла…

В то же время я не мог не понимать того, что далеко не все немцы стали палачами и грабителями. За годы войны я много говорил с пленными немецкими солдатами и офицерами, иногда, с разрешения начальства, просиживая с ними целые ночи. Передо мной проходили разные люди: храбрившиеся бахвалы, до слепоты верные воинскому уставу нерассуждающие солдаты, дрожавшие за свою шкуру трусы, развращенные нацизмом тупые ублюдки, но немало было и таких, которые, оказавшись в плену, со страхом, болью и ненавистью рассказывали обо всем, что происходит в Германии, и совершенно искренно обращались по радио к своим однополчанам с призывом обратить оружие против нацизма и спасти родную немецкую землю от несмываемого позора и вечного проклятия народов.

На войне я был до ее последнего дня, видел многие сражения, быстротечные бои, испытал вместе со всеми тяжкую горечь отступления до берегов Черного моря и радость широкого наступления наших войск после знаменитой Сталинградской

эпопеи. Мне пришлось наблюдать бои в лесистых предгорьях Кавказа на линии Новороссийск — Туапсе, стычки на перевалах Главного Кавказского хребта, оборонительные бои в районе Моздока и разгром немецкой группировки на подступах к Орджоникидзе у селения Гизель. С гордостью вспоминаю я смелый фланговый марш-маневр Донского и Кубанского казачьих кавалерийских корпусов в песчаных бурунах у Ага-Батыря, сражения под Корсунь-Шевченковским, форсирование Вислы и, наконец, уличные бои в Берлине — величественное и грозное завершение войны.

Множество героических подвигов совершили наши воины в эти годы. Полностью раскрылся характер советского народа в пору великих испытаний, ниспосланных ему историей. Тысячи тысяч людей, самоотверженно сражавшихся за свою землю, прошли перед моими глазами: пехотинцы и кавалеристы, летчики и моряки, артиллеристы и саперы, танкисты и партизаны, солдаты и офицеры, генералы и маршалы. И я был счастлив и горд тем, что видел их ратные дела, в меру своих возможностей участвовал в них и честно, без всяких прикрас заносил в свою тысячестраничную книгу все, чему был свидетелем…

В годы войны сотни моих очерков, рассказов, информационных сообщений, стихов, рифмованных «шапок», фельетонов, антифашистских памфлетов печатались в армейских и фронтовых газетах и центральной прессе. Тогда же были опубликованы две небольшие книжечки документальных рассказов — «Сила» и «На переднем крае», а также написанная мной по заданию командования повесть о разведчиках «Человек со шрамом».

В 1944 году я послал с фронта в Ростовское издательство сборник рассказов «О живом и мертвом» и рукопись, которая называлась «Повесть о слободе Крепкой». Обе книги были изданы в том же году.

В 1945 году я был заочно принят в члены Союза писателей СССР. Заочно, так как в это время, после взятия Берлина, с 43-м стрелковым корпусом Первого Украинского фронта участвовал в ликвидации последней группы гитлеровских войск фельдмаршала Шернера и в освобождении Праги…

Закончилась война. Я вернулся в город, откуда в 1941 году ушел на фронт, в превращенный в развалины Ростов. Вернулся в звании майора, награжденный боевыми орденами, в потертой шинели, с неизменной полевой сумкой, в которой лежали мои фронтовые записки. Больше ничего у меня не было: ни квартиры, ни постели, ни библиотеки, которую я любовно собирал тринадцать лет. Гитлеровцы уничтожили все. Жизнь надо было

начинать сначала.

Долгие месяцы я скитался по чужим углам, спал на полу, укрываясь шинелью, обедал где попало, большей частью в жалких окраинных харчевнях, ютившихся на задворках разбитых домов. Зима 1946 года была суровой, морозной, но я часами бродил по изуродованным улицам, по заледенелым тропинкам, проложенным среди рыжих кирпичных развалин, которые протянулись на многие километры. Нет, я не впал тогда в уныние, не проклинал мою судьбу. Во мне совершалась какая-то еще не совсем осознанная работа души и мысли, она не давала покоя, тревожила, звала куда-то.

Все дни перед моими глазами бесконечной чередой проходили картины только что минувшей войны: багровое от пожаров ночное небо, разноцветные росчерки трассирующих пуль, черный дым взрывающихся бомб и снарядов, тысячи мертвецов, осквернённые трупами воды рек, виселицы, бегство людей из горящих сел и городов, изуродованные, покореженные поля, посеченные, порезанные леса, предсмертные крики умирающих детей, надрывный плач женщин, простые и прекрасные в своей простоте подвиги наших солдат, до предела обнаженные в преддверии смерти человеческие характеры со всеми их тончайшими, в обычной жизни почти неуловимыми чертами. Передо мной, словно невиданная, похожая на охватившее все небо северное сияние, вдруг открылась великая и скорбная панорама жизни и смерти, и я увидел, познал трагедию человека и трагедию мира. Обо всем увиденном на войне я не мог молчать, обязан в меру своих сил поведать людям, чтобы воздать должное живым и мертвым героям и предостеречь своего сына от всего, что могло ему грозить в будущем. И я понял, что к научной работе, к чужим, пожелтевшим от времени рукописям, к институтскому кабинету, к докторской диссертации, к лекциям и экзаменам, ко всему тому, чем я жил до войны, мне не суждено вернуться больше никогда…

И тогда меня потянуло к земле, к деревне, к природе. Воспоминания о Екатериновке, о полях, о солнечных восходах и закатах одолевали меня. По правде говоря, о жизни на земле я никогда не забывал, потому что с землей были связаны мое детство, отрочество, юность. Но до войны воспоминания о жизни в деревне отдалялись от меня, таяли, заслоняемые научными конференциями, заседаниями кафедры, студентами, которых я успел полюбить. Еще полтора года прожил я в разрушенном городе, видел его восстановление, самоотверженный труд ростовчан, читал специальные курсы по творчеству Льва Толстого в университете и руководил работой одиннадцати аспирантов.

Об углубленной работе над произведениями Л. Толстого мне необходимо сказать особо, так как творчество величайшего писателя мира (в этом я непоколебимо убежден) не могло не сказаться на определении моих взглядов на роль литературы в обществе, на цели и задачи художника, несущего огромную ответственность перед народом.

Речь, конечно, идет не о подражании Л. Толстому, не о попытках копирования его стиля, но о приобщении к его философским взглядам. Любая такая попытка (тем более в наше время) неизбежно обречена на неудачу. Хочется сказать о другом, гораздо более глубоком и серьезном влиянии Льва Толстого на мои творческие воззрения.

Когда я по-настоящему начал читать художественные творения великого мастера-учителя, мне стало казаться, что передо мной не литература, не роман, повесть или рассказ, а нечто иное, настолько высокое, мудрое, человеколюбивое, беспощадно строгое к самому себе, что ты уже не читаешь, а как будто, склонив голову, внемлешь голосу пророка, учащего людей добру, любви и правде.

С большим трудом добывал я первое, считавшееся тогда полным, собрание сочинений Л. Толстого, перечитывал том за томом потрясающие дневники, письма, записные книжки и с каждым днем все больше понимал, что я, именуемый кандидатом

наук и доцентом, не знаю самого великого из великих художников, что передо мной чудо, сотворенное человеком-гением, поднимающим тебя на такую головокружительную высоту, что ты вдруг начинаешь видеть всех людей на земле, их поиски правды и счастья, их заблуждения, страдания их и ошибки.

Именно Лев Толстой воспитал во мне жестокую требовательность к себе, стремление к жизненной правде, ненависть к литературщине, к пустопорожнему оригинальничанью, к формализму, к тому антинародному словесному баловству, псевдоноваторству, которое он объединял словом «декадентство» и которое имеет место не только за рубежом, по, к сожалению, и у нас.

Лев Толстой значительно усилил во мне обостренное внимание к жизни, быту, характеру трудового народа, того самого народа, среди которого я жил с детства, уважал его работу и преклонялся перед его силой, мужеством, терпением, мудростью. Толстому более чем кому-либо другому я обязан и своим отношением к живой природе. Все это безусловно нашло свое выражение и в том, что было написано мной, но выражение не прямое, не обнаженное, а скрытое где-то в «подпочве»

творчества и очень часто не осмысленное мной самим…

В 1946-1947 годах были напечатаны две мои книги: роман «У моря Азовского» и документальная книга о войне «Кавказские записки». Роман был посвящен одному из самых драматических эпизодов гражданской войны — гибели красного десанта, высаженного в мае 1918 года против немецких войск кайзеровского генерала фон Кнерцера. Часть глав этого романа я написал, находясь после контузии в госпитале в Познани, а закончил его в Ростове. Что касается «Кавказских записок», то можно сказать, что в основном эта книга писалась на фронте, в перерывах между боями, а также в пору моего короткого пребывания в военном санатории в Кисловодске, куда меня почти насильно направил генерал армии И. В. Тюленев, которому я был очень благодарен за заботу и за его стремление помочь мне в работе над книгой.

Сразу же после выхода «Кавказские записки» получили самое широкое распространение, были несколько раз переизданы у нас и переведены на европейские языки. Обширное послесловие написал к книге чехословацкий критик, ее высоко оценили в Болгарии и других странах. Но больше всего меня тронуло выступление в «Литературной газете» Петра Андреевича Павленко, который сам воевал на Кавказе и счел нужным на страницах газеты сказать в мой адрес много теплых, добрых слов…

В 1947 году я навсегда простился с городом. Кочетовский колхоз «Победа» Семикаракорского района Ростовской области выделил мне хороший приусадебный участок на берегу Дона, помог транспортом. За два года мне удалось построить на своем участке просторный деревянный дом, привести в порядок двор, начать посадку фруктового сада.

Итак, мечта моя исполнилась: выросший на земле, я через много лет снова вернулся к полям, к лугам, к лесам, мог распределять рабочие часы по своему усмотрению — вставать на рассвете, бродить по берегу реки, садиться за письменный стол, отдыхать на охоте и рыбной ловле.

В Кочетовской были тогда два колхоза — полеводческий и рыболовецкий. Оба работали неважно, полагаясь на сегодняшний день. Если у полеводов не хватало техники, удобрений, а подчас им мешали весенние разливы Дона и Донца, то рыбаки, выполняя начертанный где-то наверху план и стараясь обязательно его перевыполнить, хозяйничали на реках хищнически, не считаясь ни со сроками лова, ни с размерами вылавливаемой молоди,

загребали все, что попадало в сети.

Вскоре после моего приезда станичники избрали меня депутатом местного Совета, районного, областного. С каждым днем я все больше интересовался работой колхозов, часто бывал в полеводческих бригадах, на виноградниках, на рыбацких тонях, стал присматриваться к людям, по вечерам беседовал со стариками.

На третьем году моей деревенской жизни я написал роман «Плавучая станица», за который мне была присуждена Государственная премия СССР. Роман много раз переиздавался у нас и за рубежом, был переведен почти на все европейские языки. Советские критики Ю. Лукин, Д. Молдавский, В. Ермилов, Б. Платонов, Б. Галанов, Ю. Иващенко и другие с редким единодушием высоко оценили «Плавучую станицу». В журнале «Октябрь» много хороших, дружеских слов сказала о романе Д. Н. Сейфуллина. От читателей я получил сотни писем, в числе которых было большое интересное письмо английских коммунистов из приморского города Саутпорта, близ Ливерпуля. Тесно связанные с рыбаками, английские товарищи писали мне о том, что они коллективно обсуждали «Плавучую станицу», что книга им очень понравилась и что натолкнула их на мысль помочь нищенствующим рыбакам возродить промысел креветок, что постоянная, умная помощь трудящимся — прямая обязанность коммунистов, и что примером для этого им послужил изображенный в «Плавучей станице» рыбак коммунист Архип Антропов. Тотчас же после выхода книги в свет министр рыбной промышленности СССР специальной директивой приказал всем инспекциям рыбоохраны страны прочитать роман и сделать практические выводы по вверенным им водоемам. Рыбаки Байкала организовали десятки конференций по «Плавучей станице», предложили принять ряд мер по охране уникальных рыбных запасов знаменитого озера.

Признаюсь честно: так же, как любой писатель, я испытал чувство удовлетворения при чтении критических статей и рецензий, воздающих должное тому, что было сделано. Но особую радость я почувствовал, когда познакомился с письмами англичан, директивой министра, резолюциями байкальских рыбаков, отзывами болгарских рыбаков из Варны, Бургаса, Созопола. Это было чувство исполненного долга, твердой уверенности в том, что твоя книга принесла прямую пользу людям и послужила добру…

В последние годы судьба довольно близко свела меня с Михаилом Александровичем Шолоховым, и это не могло не отразиться на моей жизни. Как я уже писал, Шолохова мне

впервые довелось увидеть в 1935 году в Вешенской, куда я приехал с письмом А. С. Серафимовича. Однако прошло больше десяти лет, прежде чем мы с Михаилом Александровичем стали встречаться в разных местах: в Ростове, в Москве, в Вешенской, куда он меня не раз приглашал. Приезжал он и ко мне в Кочетовскую и пробыл у меня в гостях три дня. Об этих встречах я подробно писал в своей книге «Цвет лазоревый», изданной в 1965 году.

Близкие мне друзья-литераторы настойчиво спрашивали у меня: какие черты Шолохова — человека и писателя — стали для тебя особенно дорогими? Я сам над этим часто задумывался, и сейчас, когда прошло немало времени, считаю, что ответить на этот вопрос не столь просто, как кажется на первый взгляд. Во-первых, Шолохов — как человек и как художник — всегда привлекал и привлекает меня твердостью и постоянной последовательностью своего мировоззрения. На протяжении своей жизни, видя вокруг себя достижения и недостатки, доброе и плохое, энтузиазм и жестокие ошибки, он никогда не подвергал какому бы то ни было пересмотру свои позиции, всегда оставался писателем-коммунистом, веря в великие цели партии и народа. Эта особенность Шолохова породила его гражданское и художественное бесстрашие. Он смело боролся и борется против всего, что мешает народу. Доказательством этого являются все его выступления на партийных и писательских съездах, на встречах с избирателями, в печати. Служение правде, борьбе за человека, изумительное проникновение в душу человеческую определяют прекрасные произведения Шолохова-художника.

Во-вторых, мне всегда была понятна и дорога глубокая народность Шолохова, та истинная народность, которая не может быть привнесена извне, а определяется всей жизнью, взглядами, характером, стремлениями писателя, великолепным знанием народного быта, национальных традиций, языка народного.

В-третьих, меня трогало и привлекало то, что Михаил Александрович знает и любит на земле все живое. Он прекрасно знает природу, и это нашло выражение во всех его произведениях, запечатлевших изумительные по красоте и глубине проникновения картины родной земли, с которой неразрывно связана жизнь всех шолоховских героев…

Не меньшее значение имели для меня и встречи с замечательным мастером русской литературы, прославленным писателем Сергеем Николаевичем Сергеевым-Ценским. Еще юношей, живя в Екатериновке, я случайно добыл отдельные книги С. Н. Сергеева-Ценского, в которых были напечатаны «Бабаев», «Медвежонок», «Лесная топь», «Печаль полей», «Тундра»,

«Гриф и граф» и другие повести и рассказы. Меня тогда удивило и взволновало свойственное только очень талантливому живописцу понимание тончайших оттенков цветов и красок на земле, умение показать душу героев, чистоту отношения к людям, сострадание к ним. Совершенно покорила меня величественная, словно высеченная из цельной скалы, эпопея Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». И как же я был обрадован, когда после войны, находясь вместе с моим ленинградским другом Виссарионом Саяновым в Крыму, я был приглашен престарелым мастером в его алуштинский дом!

Сопровождал нас давний мой товарищ Евгений Поповкин. Он тогда руководил Крымской писательской организацией и часто бывал у С. Н. Сергеева-Ценского. Из Симферополя мы ехали автомобилем, и я почти всю дорогу молчал, думая о своем родном городе Феодосии, в котором так и не удалось побывать, о том, как целомудренно и тонко изобразил крымскую природу, поросшие лесами горы, виноградники, синее море мастер слова, к которому мы ехали в Алушту.

Сергей Николаевич принял нас радушно, угостил отличным массандровским вином, а потом, узнав от Поповкина, что я много лет изучал Пушкина и даже пытался сочинять музыку на пушкинские тексты, насильно усадил меня за пианино, заставил играть, слушал мои импровизации очень внимательно, вздохнул и сказал:

— Спасибо. Я тоже долго работал над Пушкиным и уверен в том, что его гений еще не раскрыт и не познан нами до конца…

В тот вечер мы долго говорили о литературе, о языке художественных произведений, о роли писателя в наше время, о его ответственности перед народом, вернее, мы больше слушали, а говорил Сергей Николаевич, и мне вечер в Алуште запомнился навсегда. Года через полтора я еще раз увиделся с С. Н. Сергеевым-Ценским в Москве и в последний раз проведал его, когда он, тяжело больной, лежал в больнице. Это было 17 августа 1958 года. Сергею Николаевичу было плохо. Он лежал с темным лицом, с разметавшейся львиной гривой седых волос. Я пробыл у него недолго, не хотел утомлять. Он слабеющей рукой подписал мне только что вышедшую в огоньковском издании книжечку стихов «Родная земля» и тихо сказал:

— Помните, мы в Алуште говорили о красоте русского языка? Тут, на четвертой странице, есть строки об этом, прочтите по свободе…

Стихотворение называлось «Наш язык», и я его прочитал сразу же, выйдя из больницы на залитую солнцем улицу:

…И слово вещее мы ценим,
И слово русское мы чтим,
И силе слова не изменим,
И святотатцев заклеймим.

Тех, кто стереть готовы грани
Всех слов родного языка,
Всех самоцветов, цветотканей,
До нас дошедших сквозь века,

Кто смотрит взглядом полусонным,
Забившись зябко в свой шалаш,
Кто пишет языком суконным
И выдает его за наш.

Ведь это гений наш народный
Сверкал под гнетом тяжких туч —
Язык правдивый и свободный,
И величав он и могуч.

К нам перешел он по наследью,
Для нас дороже он всего,
Мы заменять чужою медью
Не смеем золото его.

Как стража драгоценной чаши,
Должны мы дар веков сберечь
И новым блеском жизни нашей
Обогатить родную речь!

Прочитав стихи умирающего писателя, я подумал о том, что он прав, что мы, писатели, — «стража драгоценной чаши» и обязаны быть стражей верной, честной, неподкупной…

Я рассказал о встречах с двумя писателями, которые оставили след в моей жизни. Но мне хотелось сказать еще о двух. Я только видел, смотрел на них издали, но произведения их прочитал и преклонялся перед ними. Это —Алексей Толстой и Вячеслав Шишков. Четыре гранитные глыбы, четыре вершины на горных кряжах — «Тихий Дон», «Севастопольская страда», «Хождение по мукам» и «Угрюм-река» — не случайно, видимо, стали моими настольными книгами. О Леониде Леонове я скажу несколько позже.

Картины широкой народной жизни, связанные с крутыми

поворотами в истории, характеры сильные, мужественные, трагические столкновения страстей, поиски человеком истины, глубокая, потрясающая душу любовь — вот что всегда привлекало меня в литературе. Я ненавидел и ненавижу «литературщину» — плод бесталанного ремесленничества, формалистическое штукарство, косноязычие и нарочитую ломку, уродование языка, выросшие на ядовитой почве западного буржуазного модернизма. Высокая художественность, простота, яркий, самобытный язык, взволнованное стремление писателя обращаться к народу, ко всем, а не к жалкой кучке самовлюбленных снобов, — именно такими должны быть черты истинного творения искусства.

Должен покаяться: я не люблю произведений, высосанных, как говорится, из пальца, в которых нет ни цветов, ни запахов жизни, ни жизненной природы, а есть только «игра воображения», этакие кокетливые арабески, порожденные «чистой» выдумкой, а подчас больной фантазией писателя, в тумане которой автор тщится преподнести читателям затейливо упрятанную мысль и при этом выдает «кота в мешке» за глубоко философскую, сложнейшую проблему. Вот почему ставшие архимодными сочинения Кафки, Джойса и их современных последователей представляются мне лишь интересным объектом для психиатров и удобным украшением отгороженных от народа хлыщей.

Хочется быть понятым правильно. Конечно, я не против художественного воображения, не против права писателя на домысел, без этого не может быть создано ни одно произведение подлинного искусства, но я за реализм и за народность искусства, за искусство здоровое, цельное, одухотворенное, нужное, как воздух, всему народу и понятное всем…

На протяжении последних лет я получил множество читательских писем, в которых повторяется один и тот же вопрос: как вы пишете, живы ли герои, которых вы показали в своих книгах?

Пользуюсь случаем ответить на эти вопросы и в качестве примера приведу два произведения: рассказ «Подсолнух» и повесть «Матерь Человеческая».

Лет десять тому назад поехали мы на охоту в калмыцкие степи, где большими стадами бродили степные антилопы-сайгаки. Добрались до Черных земель и заночевали в чабанской землянке. Весь вечер гостеприимные чабаны рассказывали нам о своей жизни, о суровых зимах, о повадках овечьих отар, о суховеях и безводье. По привычке я проснулся раньше всех, вышел из землянки и пошел в степь. На востоке еле алела утренняя заря, потом она стала расширяться, принимать желтовато-золотистый оттенок. Степь лежала ровная, притихшая,

чуть увлажненная холодной росой. От поникшей полыни вяло струился горький, печальный запах. В это ясное утро мне казалось, что в степи можно все видеть за сто километров. И вот я увидел предмет, который издали показался мне палкой или воткнутой в землю лопатой. Это оказался высокий сухой ствол подсолнуха. Шляпка была давно с него срезана, а ствол стоял, и его было видно далеко-далеко. Вокруг одинокого ствола земля была утоптана и валялось много окурков.

Вернувшись к землянке, я стал расспрашивать чабанов, откуда в этой угрюмой, бесприютной степи вдруг появился подсолнух. Один из чабанов сказал:

— Был тут у нас за старшего один старик, здоровенный такой дед. Недавно его в больницу отвезли, уж очень старый он был и болеть стал. Он и посадил этот подсолнух. У нас даже спор был: вырастет подсолнух или же нет. В полдень стырлуем мы овец, сядем возле этого подсолнуха и разговор ведем. А дед в наш разговор не вмешивался. Сядет себе в стороне и сидит молчком.

— У него сын был на войне убит, —добавил второй чабан, — вот старик и горевал. Бывало, за целый день слова от него не услышишь..

Это было все, что я узнал тогда об одиноком подсолнухе в бескрайней калмыцкой степи, в которой не было в те годы никаких посевов. Находясь несколько дней на охоте, наблюдая жизнь чабанов, побродив по степи с овечьими отарами, я почувствовал, что мне надо обязательно рассказать людям о старом чабане, о его неутешном горе и его неугасимой вере в неумирающую жизнь. Положив в основу рассказа то, что было услышано от черноземельских чабанов, остальное я додумал, домыслил, представляя в воображении жизнь своего героя.

Так был написан рассказ «Подсолнух». Он печатался с продолжениями в «Правде», был издан в огоньковской серии и переводился за рубежом. Рассказ прекрасно издали в Чехословакии. Он каким-то образом оказался в Непале, где его распространяли в рукописных копиях. Канадские литераторы Дайсон и Шарлотта Картер очень высоко оценили «Подсолнух», делая лестные для автора сравнения с известными образцами американской и советской прозы.

Таково же, примерно, происхождение повести «Матерь Человеческая», с той только разницей, что история работы над повестью растянулась почти на четверть века. Началась эта история ранней осенью 1943 года. Наши войска только что прорвали вражеский Миус-фронт, освободили Таганрог и ринулись в погоню за поспешно отступающим противником в направлении Мариуполя. Мы с моим всегдашним спутником

шофером старшим сержантом Сашей Зеленым оказались на нашей видавшей виды «эмке» в самой гуще наступавших дивизий, растянувшихся по дорогам на десятки километров. Между тем мне хотелось как можно быстрее попасть туда, где происходили решающие, с моей точки зрения, события. Однако слева от нас было Азовское море, а справа — бездорожная степь.

— Сворачивай, Саша, направо, — сказал я шоферу, — иначе мы не выберемся из этой толчеи.

— А если фрицы заминировали проселочные дороги? — возразил шофер. — Доведется нам тогда поспешать прямо в рай к господу богу.

— Ничего, сворачивай, — сказал я, — фрицы так драпают, что им не до мин…

Мы покинули забитую войсками дорогу и поехали по степи, все больше удаляясь от магистральной дороги. Переночевали на покинутой хозяевами бахче, поели холодных последышей-арбузов, а на рассвете двинулись дальше. По компасу я определил, что шофер отклоняется все правее и правее. В полдень мы въехали в черные развалины какого-то сожженного гитлеровцами хутора. На хуторе не было ничего живого: ни человека, ни собаки, ни птицы, ни дерева. Мы уже приблизились к выезду из руин, как вдруг из какой-то темной норы выскочил голый мальчишка лет четырех, а следом за ним из этой же норы выползла еле прикрытая лохмотьями молодая женщина. Увидев нас, она остолбенела от страха, но, рассмотрев на наших фуражках красные звезды, вскрикнула, упала на колени и, захлебываясь от рыданий, стала целовать полы наших шинелей. Мы подняли плачущую женщину, и она, придя в себя, рассказала нам все, что ей пришлось пережить среди развалин родного хутора. Немцы угнали всех хуторян, так рассказывала женщина, а ей посчастливилось спрятаться в кукурузе. Вернулась она, когда сожженный хутор был пуст. Она поселилась в чьем-то уцелевшем погребе и в полном одиночестве прожила среди руин больше года.

Молча слушали мы страшный рассказ женщины, успокоили ее, оставили все продукты, которые у нас были, и поехали дальше. Война не ждала, мы должны были вовремя поспеть к началу решительных боев…

Шли дни, недели, а судьба одинокой хуторской женщины не давала мне покоя, и она сама, одетая в грязные солдатские отрепья, босоногая, плачущая, все время стояла у меня перед глазами.

Тогда же, в перерывах между боями, я написал об этой женщине рассказ, который назывался «О живом и мертвом».

Весной 1944 года рассказ был напечатан в Ростове, в моем сборнике с таким же названием. Сборник похвалили, он быстро разошелся. А война продолжалась на немецкой земле, шли бои на Одере, потом начался долгожданный штурм Берлина… Великие события заслонили в моей памяти образ случайно встреченной в степи женщины-колхозницы, и я забыл ее и свой рассказ о ней.

Но, видно, судьба этой женщины навсегда вошла в мою душу, беспокоила и волновала меня. После войны я перечитал рассказ «О живом и мертвом» и пришел в ужас: настолько плохо, косноязычно, с какими-то идущими от «модной» литературы претензиями он был написан. Мне стало стыдно за себя, и чем дальше шло время, тем большие укоры совести я чувствовал. При этом одна и та же мысль, беспощадная и жестокая, волновала, тревожила меня: мысль о том, что женщина, встреченная мной на сожженном хуторе, это не просто человек вне времени, что она воплотила в своем характере все то лучшее, что было дано новым людям советской эпохой…

Прошло много лет. В одну из зим, волей обстоятельств оставшись в одиночестве (жена моя заболела и была надолго отправлена в санаторий), я вновь перечитал рассказ «О живом и мертвом» и, повинуясь укоризненному голосу совести, стал писать повесть «Матерь Человеческая».

Повесть была напечатана в «Огоньке» (в журнале и в серии «Библиотека «Огонька»), вышла отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия», в «Роман-газете», ее стали переводить за рубежом.

В 1971 году за повесть «Матерь Человеческая» мне была присуждена Государственная премия РСФСР имени Горького. ЦК комсомола и Союз писателей СССР отметили повесть первой премией на конкурсе имени А. А. Фадеева. История создания «Подсолнуха» и «Матери Человеческой» рассказана мной с одной целью: подчеркнуть свою «приземленность», стремление писать только о том, что увидено в жизни и волнует тебя, о чем нужно обязательно поведать людям, иначе совесть твоя не даст тебе покоя ни днем ни ночью. Отсюда идет моя предубежденность против «чистых» литературных упражнений, этаких ни к чему не обязывающих экзерсисов…

Живя в донской станице, я с каждым годом видел все большее оскудение природы, вызванное неумелым, а подчас варварским хозяйничаньем недальновидных людей, думающих только о сегодняшнем дне. Исчезали па речной пойме зайцы, лисы, еноты. Совершенно перевелись дрофы, стрепеты, куропатки, утки. Катастрофически упала добыча рыбы в Дону и Донце. Уже только как на редкость, на чудо смотрели кочетовские

рыбаки на стерлядь, рыбца, шемайку. А ведь каких-нибудь двадцать лет тому назад, выходя на берег Дона, мы любовались утренней игрой красавицы-белуги, замечали ход осетра, севрюги, бой золотистых сазанов на отмелях. Редели, вырубались леса на прилегающих к станице островах, на когда-то зеленых полянах чернели безобразные пни.

Как-то я заговорил об этом с замечательным писателем, добрым и сердечным человеком Леонидом Максимовичем Леоновым, не раз выступавшим в защиту нашего «зеленого друга» — леса. Результатом моих многолетних горестных наблюдений и разговоров с Л. М. Леоновым стал цикл написанных мной документальных новелл «Слово о бессловесном». Новеллы печатались в свое время в «Литературной газете», а потом, в дополненном виде, были опубликованы в журнале «Молодая гвардия».

Я не ошибусь, если скажу, что эту сравнительно небольшую книгу мне, к сожалению, придется продолжать. К сожалению, потому, что хищническое отношение к лесу, к рекам, зверям и птицам продолжается, так же как и жестокое отношение к домашним животным: лошадям, коровам, свиньям, собакам. Не могу, между прочим, не сказать об одной любопытной детали: много лет назад, когда «Слово о бессловесном» печаталось в «Литературной газете», оно заканчивалось выражением уверенности, что охрана природы обязательно должна стать одним из самых важных в работе ООН. Загрязнение морей и океанов, воздуха, гибель мигрирующих птиц, опасное повышение радиации и многие другие вопросы, связанные с состоянием Природы и ее защитой, могут быть решены только в глобальном масштабе, и я верю, что эти вопросы будут рассматривать и решать все народы, населяющие землю…

Мне осталось рассказать о главном своем замысле — романе «Сотворение мира», которому я отдал четверть века жизни и над которым продолжаю работать сейчас. Смею думать, что этот роман — основное, что мне надлежит исполнить. Многие великие события довелось пережить поколению людей, к которому я принадлежу. В годы Гражданской войны мы были малыми детьми и смутно понимали, что вокруг нас происходит. В массе своей мы, десятилетние, естественно, не могли принимать никакого участия в жестоких боях за революцию, не совершали подвигов, ибо наш черед еще не пришел, но предстояло нам испытать и свершить многое…

Мы пережили печальной памяти 1921 год, черную, отмеченную смертями пору, когда наши сверстники умирали сотнями тысяч, а зарубежная контрреволюционная сволочь

собиралась удушить молодую Республику костлявой рукой голода…

Так же, как всему народу, нам было тяжко и горько пережить кончину Ленина… На наших глазах созданную Лениным партию лихорадили, волновали споры и распри, начатые троцкистами, зиновьевцами, правыми, и мы преклонялись перед людьми, отстоявшими чистоту и незыблемость ленинских заветов: Сталиным, Дзержинским, Калининым, Кировым, Орджоникидзе, Куйбышевым… Когда партией был провозглашен курс индустриализации страны, мы видели и сами испытали великое переселение миллионов людей в горы, в пустыни, в тайгу, туда, где в метельную стужу, в жару воздвигались первые гиганты советской индустрии… Мы пережили и сами приняли участие в невиданной в истории ломке старого уклада крестьянской жизни, когда рушилось все, что утверждалось в мужицких дворах веками, а на смену приходила неведомая, пугающая и влекущая новь с ее поисками, трагическими ошибками, необходимой поспешностью…

Мы были настороженными, зоркими, чуткими, ко всему готовыми свидетелями того, что происходило за рубежами горячо нами любимой Советской страны. Мы отмечали в своей памяти злодейские убийства наших послов, выстрелы в королей, канцлеров, министров, исчезновения политических деятелей, заговоры, путчи, мятежи, расстрелы, пытки, удушение целых государств, хитроумное плетение смертной дипломатической паутины вдоль всех границ нашей Отчизны. Мы остро чувствовали, понимали, что несет миру приход к власти изувера Гитлера, его сговор с Муссолини, подписание «антикоминтерновского пакта», кровавый разгул палача Франко в Испании, гнусная политика мюнхенских пособников фашизма.

Пробил грозный час. Настало время, когда всему человечеству, истории было дано проверить: выдержим ли мы испытание на жизнь и смерть? Советский народ выдержал и это величайшее из всех испытаний, разгромил врага и навсегда избавил планету от невиданного зла фашизма…

Обо всем, что пережило поколение людей, к которому я принадлежу, мне хотелось рассказать людям. Долго вдумывался я в слова Тютчева, полные глубокого смысла:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые…

Я хорошо понимал, какую цель поставил перед собой, и потому работал неторопливо, взволнованно и тревожно. Мне

было очень трудно. Как всегда, я отверг «чистую выдумку», стремился говорить о том, что было, чему был свидетелем сам. Поэтому, видимо, в романе нашли место отдельные черты жизни и характеров близких мне людей, с которыми пришлось жить и работать в Екатериновке, на Дальнем Востоке, на Дону. Конечно, было бы глубокой ошибкой считать «Сотворение мира» автобиографическим романом, этакой «моментальной фотографией» увиденного. Происхождение героев романа определялось живыми людьми, но мысли, поступки, действия героев додумывались автором и изображались в соответствии с характерами реально существовавших людей, иногда даже с известным преувеличением, которое позволяло иидеть в каждом герое человека, типичного для его среды и его мировоззрения.

Однако я не собирался писать хронику малой, упрятанной среди холмов деревушки Огнищанки. В жизни ее обитателей неизбежно отражалось все, что происходило в стране, в мире. Огнищанка втягивалась в орбиту сложных и важных событий мирового значения. Кроме того, далеко не все жители этой глухой деревни были ограничены низким потолком дедовской избы и межой своего земельного надела. Многих из них судьба забросила далеко от родных мест, и они оказались за рубежом: одни как эмигранты-белогвардейцы, другие как дипломатические работники Советской страны. Им довелось многое повидать, многое узнать.

Объем и границы романа заставили меня годами осваивать необходимые документы. Мне удалось собрать стенограммы всех партийных пленумов, конференций и съездов, мемуары и статьи белоэмигрантов, посмотреть множество архивных материалов, беседовать с сотнями людей —участниками интересующих меня событий. Надо было внимательно изучить воспоминания советских маршалов, генералов, офицеров, руководивших фронтами, армиями, корпусами, дивизиями в Великой Отечественной войне, записки партизанских вожаков, протоколы Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками, книги немецких, американских, английских, французских военных писателей. Это все отняло много времени. Над «Сотворением мира» я начал работать в январе 1951 года, но еще до этого набрасывал первые планы, ездил в Москву, разыскивая нужные материалы, мучительно долго искал ключ, который позволил бы определить форму романа, стиль и ритм повествования.

Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, я все чаще думаю о том, что на всю жизнь меня привязали две темы: земля и война, вернее — человек на земле и человек на войне. И, когда приходится перелистывать все, что за долгие годы было написано

и напечатано мной, я начинаю все больше понимать и не без удивления убеждаться в том, что, подобно осужденному на вечную каторгу, железными цепями прикованному к тяжелой тачке мученику, я был прикован к тому, что больше всего в жизни затронуло меня самого.

Что ж, как говорится, — каждому свое…

Большая часть пути уже пройдена мной. И я рад и счастлив тем, что жизнь открыла мне в детстве и отрочестве красоту земли, ее добрую, зиждительную силу, дала возможность в полной мере познать трудную работу в полях, сладостную вечернюю усталость, научила с сыновней нежностью любить и уважать жесткие, натруженные руки земледельца, до сердечной дрожи наслаждаться шумом древесной листвы, журчанием лесных ручьев, сокровенным языком птиц и зверей…

Я рад и счастлив тем, что после семнадцатилетней разлуки, меня, ушедшего от земли, дороги жизни вернули к земле. На этот раз навсегда.

Я, наконец, рад и счастлив тем, что после всего доброго и злого, что мне довелось видеть в мире, после долгих раздумий и размышлений, после печальных ошибок в мучительных поисках истины и определении цели жизни, моей жизни, данной только мне и никому другому, я нашел и познал свет звезды, которая вела и продолжает вести меня стремление к благу и счастью, к любви и дружбе всех людей на земле…

Февраль 1972 — февраль 1977 гг.
Станица Кочетовская-на-Дону